

## Замечания Ж.-Ж. Руссо, гражданина Женевы, по поводу ответа на его Рассуждение

Мне скорее приличествовала бы благодарность, нежели возражение анонимному автору \*, почтившему ответом мое Рассуждение. Но долг признательности не позволит мне забыть о моем долге перед истиной; более того, я никогда не забуду, что всякий раз, когда речь идет о разуме, люди возвращаются к естественному праву и обретают свое первозданное равенство.

Сочинение, на которое мне предстоит ответить, полно весьма справедливых и бесспорных мыслей,— мне нечего возразить на них; хотя я и именуюсь в нем ученым, мне было бы очень неприятно принадлежать к числу тех, у кого готов ответ на любой вопрос.

Но это не усложнит моей задачи: я лишь сопоставлю мои понятия с теми истинами, которые выдвигает мой оппонент; и если я докажу, что те и другие не противоречат друг другу, то это, мне кажется, явится доказательством моей правоты.

Все положения, выдвинутые моим оппонентом, можно свести к двум основным пунктам: первый содержит похвалу наукам, второй трактует о злоупотреблении ими. Я рассмотрю их порознь.

По тону моего оппонента чувствуется, что ему было бы гораздо приятнее, если бы я сказал о науках больше дурного, чем говорил в действительности. Высказывается предположение, что похвала наукам, высказанная в начале моего Рассуждения, должна была дорого мне стоить; по мнению автора, это признание, на самом деле вынужденное и от которого я не замедлил отречься.

\* Так как труд короля польского был издан вначале анонимно и не признавался автором, я вынужден был также сохранить его инкогнито, но после того, как этот государь публично признал свой труд, я счел себя избавленным от обязанности умалчивать в дальнейшем о чести, которую он мне оказал.

Если эту похвалу исторгла из моих уст любовь к истине, то приходится сделать вывод, что я и думал о науках то хорошее, что сказал о них; следовательно, то хорошее, что о них говорит мой оппонент, не противоречит моему убеждению. Говорят, что признание мое было вынужденным; тем легче мне оправдаться, ибо это доказывает, что истина для меня дороже моих склонностей. Но где основания считать, что эта похвала вынуждена? Не оттого ли так думают, что я неуклюже выразил ее на бумаге?! Но судить по такому признаку означало бы выдвинуть страшное обвинение против искренности автора. Не оттого ли, что в похвале этой я был скуп на слова?! Поистине, я легко мог бы выразить гораздо меньше мыслей на много большем количестве страниц. Итак, я, значит, отрекся от своих же слов! Я не знаю, в каком месте я совершил такую ошибку, это вовсе не входило в мои намерения — вот все, что я могу ответить.

Наука сама по себе есть благо — это очевидно; и утверждать противоположное, значит, грешить против здравого смысла. Творец всех вещей есть источник истины; всеведение является одною из его божественных прерогатив. Следовательно, приобретение познаний и распространение просвещения означает, в некотором роде, приобщение к высшему разуму. В этом смысле я и восхвалял знание, и в этом смысле я восхваляю моего оппонента. Он распространяется также о всевозможной пользе, которую человечество может извлечь из наук и искусств; я охотно высказался бы на эту же тему, но не она составляет предмет моего рассуждения. Итак, в этом пункте мы полностью согласны.

Но как могло случиться, что науки, коих источник столь чист, а цель столь похвальна, порождают столько неверия, столько лжеучений и заблуждений, столько бессмысленных систем, столько противоречий и нелепостей, столько горьких насмешек, столько бездарных романов и бесстыдных стихов, столько непристойных книг, а в тех, кто занимается науками, столько гордости, столько скупости и злобы, столько коварства и зависти, столько лжи и мерзости, столько клеветы, столько позорной и низкой лести? Я утверждал, что это происходит вот отчего: наука, как бы она ни была прекрасна и возвышенна, не сотворена для человека; ум его слишком ограничен, чтобы достичь больших успехов в ней, в человеческом же сердце слишком много страстей, чтобы не употребить ее во зло; людям совершенно достаточно хорошо изучить свои обязанности, для чего каждый из нас получает все необходимые познания. Мой оппонент признает со своей стороны, что науки приносят вред, когда ими злоупотребляют, и что многие действительно ими злоупотребляют. В данном случае, мне кажется, мы не слишком расходимся во мнениях; правда, я добавлю,

что ими злоупотребляют много, что ими злоупотребляют всегда; и, мне кажется, в ответе не утверждалось противоположное.

Итак, я могу заверить, что наши принципы, а следовательно, и те выводы, какие можно сделать из нашей дискуссии, не противоречат друг другу; именно это я и должен был доказать. Однако, когда мы приступаем к этим выводам, результаты оказываются противоположными. Мой вывод таков: поскольку науки приносят больше зла правам, чем блага обществу, то было бы желательно, чтобы люди отдавались им с меньшим жаром; мнение моего оппонента таково, что хотя науки и приносят много зла, все же не следует отказываться от занятий ими из-за той пользы, которую они приносят. Я обращаюсь не к широкой публике, а к небольшому количеству истинных философов: пусть они разрешат вопрос, какое же из этих двух заключений следует предпочесть.

Мне остается сделать частные замечания по поводу некоторых пунктов этого ответа, которым, как мне кажется, не хватает ясности суждения, приводящей меня в восхищение в других местах: неточности эти могли способствовать ошибочным выводам автора.

Сочинение начинается с нескольких замечаний в мой адрес, на которые я отвечу лишь в той мере, в какой они будут касаться данного вопроса. Автор удостаивает меня многими похвалами; это, конечно, открывает передо мною блестящую карьеру. Но его отзывы обо мне слишком мало соответствуют действительности; почтительное молчание перед предметом нашего восхищения часто бывает куда приличнее нескромных похвал \*.

Говорят, что рассуждение мое содержит много удивительного \*\*.

\* Всех государей, и добрых, и жестоких, вечно будут восхвалять, раболепно и равнодушно, до тех пор пока не переведутся придворные и писаки. Что касается подлинно великих монархов, то им приятны похвалы более умеренные и изысканные. Лесть оскорбляет их добродетель, даже само восхваление может умалить их славу. По крайней мере, я уверен, что Траян гораздо больше вырос бы в моем мнении, если бы Плиний никогда не писал о нем <sup>1</sup>. Будь Александр на самом деле тем, чем он старался казаться, он не стал бы заботиться ни о своем портрете, ни о своей статуе, но панегрик себе он должен был бы позволить составить только лакедонянину, даже рискуя вовсе его не получить <sup>2</sup>. Единственная похвала, достойная государя, — не та, что исходит от продажного оратора, она произносится устами свободного народа. «Для того чтобы я пашел удовольствие в ваших похвалах, — говорил император Юлиан придворным, превозносившим его за справедливость, — нужно, чтобы вы осмелились осудить меня, когда того потребовала бы истина» <sup>3</sup>.

\*\* Прже всего должна была бы вызвать удивление сама проблема, важнейшая и интереснейшая из всех, какие когда-либо были поставлены, и проблема эта, может быть, не скоро будет обсуждаться вновь. Французская Академия только что установила премию 1752 года за красноре-

Мне кажется, тут потребуются некоторые разъяснения. Также вызывает всеобщее удивление тот факт, что оно удостоено премии; здесь, впрочем, нет ничего странного: награда за посредственное сочинение вовсе не редкость. Во всяком другом смысле это удивление было бы настолько же почетно для Дижонской Академии, насколько оно обидно для всех академий в целом; поэтому легко понять, в какой мере я воспользуюсь этим случаем для защиты моего дела.

Меня обвиняют в противоречии между моим поведением и моим учением и делают это в весьма изысканных выражениях; меня упрекают в том, что я сам занимался науками, которые осуждаю \*. А так как утверждают, будто бы я старался доказать несовместимость науки и добродетели, то меня и спрашивают, довольно настойчиво, каким же образом я осмеливаюсь заниматься первою, высказываясь в то же время в пользу второй.

Таким вот ловким приемом и втягивают в спор; подобное обвинение неизбежно затруднит мой ответ, или, вернее, мои ответы, так как, к несчастью, я должен дать их несколько. Постараемся по крайней мере, чтобы их точность возместила недостаток любезности.

1. Занятия науками развращают нравы нации — я решился утверждать это, и, смею думать, я это доказал. Но разве мог я заявить, что в каждом отдельном человеке наука и добродетель несовместимы, я — который убеждал государей призывать ко двору подлинных ученых и оказывать им доверие, дабы раз и навсегда убедиться, на что способны наука и добродетель, соединенные для счастья рода человеческого?! Таких подлинных ученых, должен признаться, очень мало, ибо для того, чтобы правильно пользоваться наукой, следует соединять большие дарования с выдающимися добродетелями, а этого можно ожидать лишь от немногих избранных душ, но не от целого народа. Итак, в моем рассуждении вовсе не утверждается, что человек не может быть одновременно и ученым, и добродетельным.

2. Еще менее можно было бы обвинить в этом мнимом противоречии, даже если бы оно существовало в действительности, меня са-

чие, предложив тему, весьма близкую к упомянутой. Требуется доказать, что любовь к изящной словесности внушает любовь к добродетели. Академия не пожелала оставить подобную тему неразрешенной; мудрые академики даже удвоили в данном случае срок, ранее предоставляемый авторам для самых трудных тем.

\* Я не сумею оправдаться, как и многие другие, тем, что наше воспитание не зависит от нас и что с нами не советуются прежде, чем дать нам яду. Я отдался науке по своей доброй воле и с еще большею охотою оставил ее, заметив тревогу, посеянную наукой в моей душе, притом без всякой пользы для моего разума. Я отринул это обманчивое ремесло, которое сулит нам великую мудрость, порождает же одно лишь тщеславие.

мого. Я горячо привержен добродетели, мое сердце — тому свидетель; оно же слишком часто говорит мне о том, как эта приверженность еще далека от опыта, который делает человека по-настоящему добродетельным. Кроме того, я весьма далек от того, чтобы овладеть наукой, и еще дальше от того, чтобы полюбить ее. Мне казалось, что чистосердечное признание, сделанное мною в начале моего рассуждения, должно было бы оградить меня от подобных обвинений; я больше опасался упреков в том, что я сужу о вещах, которых не знаю. Вполне понятно, насколько невозможно мне было избежать одновременно обоих этих упреков. Как знать, не пришлось ли бы мне обороняться от обоих вместе, если бы я не поспешил признать справедливость первого, как ни мало он был мною заслужен.

3. По этому поводу я бы мог сослаться на то, что говорили отцы церкви о светских науках, которые они презирали, но которые все же использовали для борьбы с языческими философами; я бы мог процитировать их сравнение науки с египетскими сосудами, украденными иудеями. Но я ограничусь — для окончательного доказательства моей правоты — следующим вопросом: «Если бы некто явился, чтобы меня убить, и мне посчастливилось бы завладеть его оружием, было ли бы мне запрещено, прежде чем его бросить, употребить его на то, чтобы прогнать врага?»

Если противоречие, в котором меня упрекают, не существует, все же не нужно думать, что я просто хотел позабавиться легковесным парадоксом, это кажется мне тем менее необходимым, что принятый мною тон, как бы он ни был неуместен, во всяком случае не является следствием пустой игры ума.

Пора закончить с тем, что относится ко мне; никто не выигрывает, говоря о себе, а общество с трудом прощает подобную нескромность, даже в том случае, если нескромность эта вынужденная. Истина равно независима и от тех, кто нападает на нее, и от тех, кто берет ее под свою защиту, так что спорящие о ней авторы должны были бы забыть друг о друге, это сберегло бы много бумаги и чернил. Но это правило, столь легко применимое ко мне, не подходит для моего оппонента; вот различие, которое не послужит к пользе данного возражения.

Указывая на то, что я нападаю на науки и искусства за их влияние на нравы, автор в своем ответе старательно разъясняет всю ту пользу, какую можно извлечь из них для различных сословий; как будто для оправдания обвиняемого достаточно доказать, что он прекрасно себя чувствует, что он очень ловок или очень богат. Пусть только со мною согласятся, что искусства и науки делают нас порядочными людьми; я не стану отрицать, что они притом весьма удоб-

ны для нас и в этом они опять-таки сходны с большинством пороков.

Автор идет еще дальше, утверждая, что знания нам необходимы, дабы восхищаться красотой вселенной, и что картины природы, предназначенные, по-видимому, для всеобщего обозрения, будучи весьма поучительны, сами по себе требуют от наблюдателей многих познаний, кои способствуют успешному наблюдению. Признаюсь, положение это меня удивило: значит ли это, что всем людям дано быть философами или что только одним философам дано верить в бога? Во многих главах Священного писания содержится призыв склониться перед величием и милосердием божьим, перед тайною творения, но я не припомню, чтобы там предписывалось изучать физику; неужто же я, который ничему не обучен, буду почитать его меньше, чем тот, кто изучил кедр и траву зверобой, хобот мухи и хобот слона: *Non enim nos Deus ista scire sed tantum modo uti voluit* <sup>4</sup>.

Мы привыкли рассуждать о пользе наук, забывая при этом, что мы выдаем желаемое за действительное. Мне все же кажется, что это совершенно различные вещи. Познание вселенной должно возвышать человека до его творца, а не поощрять в нем тщеславие. Философ, льстящий себя мыслью о том, что он проник в тайны творения, осмеливается сравнить свою так называемую мудрость с мудростью творца вселенной; он одобряет, он порицает, он исправляет, он навязывает природе законы, он очерчивает границы божественного; и в то время как он, занятый своими бесполезными системами, лезет из кожи вон, чтобы привести в порядок механизм мира, земледелец, наблюдающий, как дождь и солнце по очереди делают плодородным его поле, благоговейно восхваляет и благословляет ту руку, из коей он получает эти благодеяния, нимало не задумываясь о способе, каким они достались ему. Он вовсе не пытается оправдать неверием свое невежество или свои пороки. Ему и в голову не приходит критиковать деяния божьи и восставать на владыку небесного для того только, чтобы блистать своей пустой ученостью. Никогда безбожные слова Альфонса X <sup>5</sup> не придут на ум простому человеку, такое богохульство — удел образованных умников. В то время как в просвещенной Греции было полно атеистов, Элиан отмечал, что варвары никогда не сомневались в существовании божества. Мы также можем сообщить, что в настоящее время в целой Азии есть только один просвещенный народ, что более половины этого народа составляют неверующие и что это единственная нация в Азии, которой известен атеизм <sup>6</sup>.

Следующее положение: *естественная любознательность человека внушает ему стремление к знанию*. Что ж, значит, он должен стараться сдержать это стремление, как и прочие природные склонности.



*Потребности человека заставляют его почувствовать необходимость знаний. Знания полезны с многих точек зрения; однако, хотя дикари — тоже люди, они вовсе не чувствуют этой необходимости. Занятия человека обязывают его быть образованным. Гораздо чаще они вынуждают его отказаться от учения, ибо он должен выполнять свои прямые обязанности \*. Плод учения сладок. Именно поэтому люди и должны его остерегаться. Первые открытия еще больше увеличивают жажду знаний. Так действительно случается с теми, кто богат дарованиями. Чем больше человек знает, тем больше он тянется к знаниям. То есть польза от всего потерянного им времени заключается в том, чтобы побудить его к еще большей потере времени. Но много ли найдется гениальных людей, у которых в результате учения возрастает понимание собственного невежества?! а ведь науки только для таких и могут быть полезными. Стоит же глупцу научиться какой-нибудь малости, как он начинает уверять, что постиг все и вся, и нет такой глупости, которую сия уверенность не заставила бы его совершить или высказать. Чем больше человек приобретает знаний, тем праведнее он живет.* Сразу видно, что эти слова автору подсказало сердце, но не наблюдения за людьми.

Он утверждает также, что полезно познать зло, чтобы научиться его избегать, и дает понять, что в своей добродетели можно быть уверенным, лишь подвергнув ее испытанию. Такие утверждения весьма сомнительны и спорны. Разве для того, чтобы научиться поступать хорошо, необходимо сперва узнать, какими путями распространяется зло?! У нас есть внутренний руководитель, гораздо более непогрешимый, чем все на свете книги, никогда не покидающий нас в нужде; его одного достаточно, чтобы удержать нас от дурных дел, — стоит только прислушаться к нему. И к чему подвергать испытанию свои силы и свою добродетель, если одно из упражнений в добродетели как раз и состоит в том, чтобы избегать поводов к порочному поведе-

\* Я назвал бы дурным признаком для общества тот факт, что тем, кто руководит обществом, требуется много знаний; если бы люди были такими, какими должны быть, им вовсе не потребовалось бы учиться, они и без учения знали бы свои обязанности. Впрочем, сам Цицерон, который, по словам Монтезя, «был обязан своим мужеством знаниям... упрекал некоторых из своих друзей, что они привыкли тратить на астрологию, право, диалектику и геометрию больше времени, чем заслуживают эти искусства, отвлекающие их от других занятий, гораздо более полезных и почтенных» (кн. II, гл. XII). Мне кажется, что члены любого ученого сообщества должны были бы лучше понимать друг друга и, по крайней мере, сначала договориться по некоторым вопросам, прежде, чем выносить их на общий суд.

нию? Умный человек постоянно соблюдает осторожность, он вечно не уверен в собственной стойкости; он хранит все свое мужество на случай необходимости и никогда не высовывается вперед некстати. Хвастун тот, кто похваляется несуществующими достоинствами, тот, кто оскорбляет, держится вызывающе и — празднует труса в первой же стычке. Скажите мне, кто из этих двоих более похож на философа, борющегося со своими страстями?

Меня упрекают в том, что я предпочитаю заимствовать примеры добродетели в древнем мире. Весьма вероятно, что я нашел бы их гораздо больше, когда бы мог уйти еще дальше в глубь веков. Я назвал также один современный народ <sup>7</sup>, и не моя вина, если я не обнаружил других. Теперь стало принято также вменять мне в вину отвратительные сравнения, в которых, как говорят, больше зависти к моим соотечественникам и досады на моих современников, нежели усердия и справедливости. И, однако, никто, верно, не любит более меня мою страну и моих соотечественников. Впрочем, мне осталось одно лишь слово. Я высказал свои доводы, — вот ими-то и следует заниматься, что же до моих намерений, то пусть их судит тот, кто единственно имеет на это право.

Я не хочу умолчать здесь о существенном замечании, уже высказанном мне когда-то одним философом <sup>\*8</sup>. *Не следует ли приписать, говорил он, различие, замечаемое иногда между нравами в разных странах и в разное время, климату, национальному характеру, неудачному течению обстоятельств, ошибочной цели, государственной экономике, обычаям, законам, любой другой причине, но только не наукам?*

Этот вопрос весьма не прост и требует пространных объяснений, неуместных в данном сочинении. К тому же пришлось бы тогда исследовать глубоко скрытые, но вполне реальные связи, которые существуют между сущностью образа правления и духом, между нравами и познаниями граждан, а это ввергнет меня в затруднительную дискуссию, которая, боюсь, слишком далеко меня заведет. Вдобавок, мне было бы неудобно рассуждать о правительстве, ибо в этом вопросе я не рискну мериться силами с моим оппонентом; вообще, по зрелом размышлении, я заключаю, что такие проблемы лучше всего решать в Женеве и при других обстоятельствах.

Я перехожу к обвинению значительно более серьезному, чем предыдущее замечание. Мне придется процитировать здесь автора, ибо очень важно, чтобы читатель имел точное представление о его мнении.

\* Предисловие к «Энциклопедии».



*Чем больше христианин убеждается в подлинности священных реликвий, тем набожнее он становится; чем больше он изучает Откровение, тем сильнее укрепляется в вере. В Священном писании он открывает для себя источник веры и ее высший смысл; в ученых трудах отцов церкви он прослеживает ее развитие от столетия к столетию; в книгах по вопросам морали и в анналах церкви он открывает для себя образцы веры, коим должно следовать.*

*И что же?! Неужто невежество лишит религию и добродетель столь могущественной опоры?! И ученый из Женевы будет высокомерно вещать о том, что именно религия виновата в испорченности нравов?! Мы приняли бы это за нелепый парадокс, если бы не знали, что необычность какой-либо теории, пусть даже самой вредной, является лишним доводом для того, кто руководствуется необычными соображениями.*

Я осмелюсь спросить у автора: как же он мог дать подобную интерпретацию сформулированным мною принципам? Как мог он обвинять меня в том, что я осуждаю изучение религии, меня, который особенно осуждает пустопорожние ученые занятия за то, что они отвлекают нас от изучения наших обязанностей? А что же такое изучение обязанностей гражданина, как не изучение самой религии?

Без сомнения, я должен был бы совершенно недвусмысленно осудить все те глупые ухищрения схоластики, которые уничтожают дух религиозных принципов под предлогом их разъяснения, подменяя христианское смирение ученым высокомерием. Мне нужно было бы с большей твердостью выступить против тех нескромных служителей церкви, которые первыми осмелились посягнуть на святость ковчега, дабы с помощью моих слабых познаний укрепить здание, поддерживаемое божией дланью. Следовало бы заклеить позором легкомысленных людей, которые принизили возвышенную простоту Евангелия своими жалкими спорами о пустяках и свели учение Иисуса Христа к силлогизмам. Но сейчас дело обстоит так, что я должен защищаться, а не нападать.

Этот спор можно разрешить лишь одним способом: прибегнув к истории и фактам. Если бы я сумел объяснить в немногих словах, что общего имели науки и религия с самого начала, то мне, верно, удалось бы покончить с этим пунктом наших разногласий.

Избранный богом народ никогда не насаждал наук, и его никогда не склоняли к учению, однако же, если бы он счел учение в какой-нибудь мере полезным, он нашел бы ему лучшее применение, чем любой другой народ. Однако его вожди прилагали все усилия к тому, чтобы оградить его, насколько это возможно, от язычников и просвещенных наций, которые его окружали; предосторожность

эту следовало соблюдать именно в отношении первых, так как легче было бы прельстить этот темный и уязвимый народ фокусами жрецов ваала, нежели софизмами философов.

Широко распространенная среди египтян и греков, наука встречала тысячи препятствий к тому, чтобы укорениться в еврейском государстве. Иосиф и Филон<sup>9</sup>, которые в любом другом месте считались бы зауряднейшими личностями, в глазах евреев были гениями. Саддукеи<sup>10</sup>, отличающиеся неверием, стали философами. Иерусалима, фарисеи<sup>11</sup>, великие лицемеры,— его учеными\*. Хотя они и свели свою науку к толкованию религиозных законов, они и этому занятию предавались с обычною для догматиков напыщенностью и самонадеянностью. Они сами с большим тщанием соблюдали все религиозные обычаи, но из Евангелия мы узнаем, каков был дух и какова цена этого тщания. Помимо всего, они обладали весьма скудными познаниями и большим высокомерием, и в этом они как раз очень походили на нынешних наших ученых.

Устанавливая новый закон, Иисус Христос менее всего хотел ввести свое учение и управление церковью ученым. Он всегда и при всех обстоятельствах отдавал предпочтение бедным и простым людям. Если в тех наставлениях, которые он давал своим ученикам, он и упоминает о науке или учении, то лишь для того, чтобы показать свое презрение ко всему этому.

После смерти Иисуса Христа двенадцать бедных рыбаков и ремесленников стали поучать и обращать людей в новую веру. Их метод был прост: они проповедовали без особого искусства, но от чистого сердца; а самым замечательным из всех чудес, которыми бог удостоил их веру, была святость их жизни; ученики подражали им, и учение пользовалось неслыханным успехом. Встревоженные этим, иудейские священники заявили властителям, что государству грозит гибель, ибо уменьшились приношения. Начались гонения, но они только способствовали распространению новой религии, которую пытались уничтожить. Все христиане стремились к мученичеству, а народы — к крещению; история этих давних времен являет собою непрерывное чудо.

\* Эти две партии питали друг к другу ненависть и презрение, как это и бывало во все времена между учеными и философами: ибо первые, как попугаи, повторяют и пережевывают чужие мысли, вторые же приписывают себе заслугу изобретения собственных теорий. Устройте столкновение между учителем музыки и учителем танцев «Мещанина во дворянстве»<sup>12</sup>, и вы увидите тугодума и остролова, химика и писателя, законоведа и врача, геометра и стихоплета, богослова и философа. Чтобы верно судить о всех этих людях, достаточно позволить им высказаться и послушать то, что каждый из них скажет, но не о себе, а о других.

Тогда идолопоклонники, которым мало было преследовать христиан, стали на них клеветать; философы, не находившие выгоды в религии, проповедующей смирение, присоединились к священнослужителям. Правда, простые люди все-таки переходили в христианство, но ученые умники насмехались над ними; всем известно, с каким презрением встретили афиняне святого Павла <sup>13</sup>. Со всех сторон на новую секту сыпались насмешки и оскорбления; чтобы защититься, нужно было взяться на перо. Святой Юстин — мученик \* <sup>14</sup> первым

\* Первые христианские писатели, окропившие собственной кровью свои сочинения, считались бы теперь возмутительными авторами, так как они проповедовали те же мысли, что и я. Святой Юстин в своей «Беседе с Трифоном» перечислял различные философские школы, членом которых он был в прошлом, он так осмеял их, что можно подумать, будто читаешь «Диалог» Лукиана <sup>15</sup>; также и из «Апологии» Тертуллиана <sup>16</sup> мы узнаем, что первые христиане считали себя глубоко оскорбленными, если их принимали за философов.

И действительно, изложение пагубных изречений и нечестивых догм различных школ послужило бы отнюдь не к чести философии. Эпикурейцы <sup>17</sup> полностью отрицали провидение, платоники <sup>18</sup> сомневались в существовании Божества, а стоики <sup>19</sup> — в бессмертии души. Другие, менее знаменитые школы были немногим лучше этих; вот отрывки из Феодора, главы одного из двух направлений кирепаинов <sup>20</sup>, приведенные Диогеном Лаэртцем <sup>21</sup>: «Sustulit amicitiam quod ea nequè insipientibus neque sapientibus adsit... Probabile dicebat prudentem virum non seipsum pro patria periculis exponere, neque enim pro insipientium commodis amittendam esse prudentiam. Furto quoque et adulterio et sacrilegio cum tempestivum erit daturum operam sapientem. Nihil quippe horum turpe naturâ esse. Sed auferatur de hisce, vulgaris opinio, quae è stultorum imperitorumque plebeculâ conflata est... sapientem publicè absque ullo pudore ac suspicione scortis congressurum» (Diog. Laert. In Aristippe, § 98—99) <sup>22</sup>.

Я знаю, что это частное мнение; но существует ли хотя бы одна школа, не впавшая в какое-нибудь опасное заблуждение? Как нам расценивать философов, которые, оказавшись меж двух огней, без малейших угрызений совести публично проповедовали официальное учение, втайне придерживаясь прямо противоположного? Пифагор первым ввел в употребление тайную ересь, он открывал ее своим ученикам лишь после длительных испытаний и под большим секретом. Втайне он давал им уроки атеизма, а публично приносил богатейшие жертвы Юпитеру. Философам пришелся по душе этот метод, он мгновенно распространился в Греции, а оттуда проник в Рим, как это видно из произведений Цицерона, насмеявшегося в кругу близких друзей над бессмертными богами, которым он воздавал торжественную хвалу на публичных собраниях.

Тайная ересь возникла в Китае не по вине Европы; она зародилась там на месте, одновременно с философией; именно ей китайцы и обязаны тем, что среди них так много атеистов или философов. История этой роковой ереси, написанная образованным и чистосердечным человеком <sup>23</sup>, в корне подорвала бы авторитет античной и современной философии. Но философия всегда пренебрегала здравым смыслом, истиною и даже своей эпохой, потому что она питается человеческим высокомерием, а что в этом мире сильнее его?!

написал апологию своей веры. Так начались нападки на язычников, а нападать на них означало их победить. Первый успех ободрил других писателей. Под предлогом разоблачения гнусности язычества они бросились в мифологию и в ученость \*, им захотелось похвастаться образованностью и остроумием; и вот появилась масса книг, а нравственность пришла в упадок.

Очень скоро простота Евангелия и чистосердечная вера апостолов перестали устраивать людей, они решили перещеголять умом своих предшественников. Стало модным копаться в догмах, каждый отстаивал лишь свое мнение, и никто не хотел уступить другому. Теперь было почетно считаться главою секты, и повсюду возникли ереси.

К этим раздорам не замедлили присоединиться несдержанность и жестокость. Христиане, такие милосердные, так покорно подставлявшие шею под нож, начали преследовать друг друга яростнее идолопоклонников, справедливые мнения отстаивались так же неистово, как ложные. По той же причине возникло и другое, не менее опасное зло — в христианское учение начали подмешивать античную философию. Изучение греческой философии навело людей на мысль, что она имеет отношение к христианству, и они дерзнули уверовать в то, что религия, подкрепленная авторитетом философов, станет благодаря этому еще более почитаемой. Было такое время, когда требовалось прослыть платоником <sup>24</sup>, чтобы быть христианином; еще немного, и в церкви рядом с Иисусом Христом поставили бы статуи — сначала Платона, а затем Аристотеля.

Церковь неоднократно выступала против этих злоупотреблений. Наиболее славные ее сторонники часто осуждали их в самых горячих и резких выступлениях; они неустанно пытались изгнать из церкви светскую науку, порочившую чистоту христианства. Один папа, из самых знаменитых, дошел в усердии своем до того, что объявил грехом подчинение слова божьего правилам грамматики.

Но они боролись безуспешно: увлеченные общим течением, они вынуждены были склониться перед наукою, которую клеймили, и большинство из них, выступая с осуждением прогресса наук, делали это в весьма ученых выражениях. Наконец, после долгих перипетий дела приняли более спокойный оборот. К десятому веку факел науки перестал озарять мир; духовенство погрязло в невежестве, которое я

\* Климента Александрийского справедливо упрекали в том, что он в своих сочинениях обнаруживал эрудицию светского ученого, мало подобающую христианину. Однако тогда было простиительно изучать ту доктрину, с которой боролись. Но кто в настоящее время может без смеха наблюдать потуги наших ученых разъяснять бредни мифологии?

не хочу оправдывать, ибо забвению преданы были не только бесполезные для него знания, но и самые необходимые; правда, благодаря этому невежеству церковь по крайней мере обрела, наконец, некоторый покой, которого не знала до той поры.

С возрождением литературы не замедлил вновь возникнуть раскол, еще более ужасный, чем прежде. Ученые возобновили споры, ученые их и поддерживали, а наиболее видные из них оказались и наиболее упорными. Напрасно устраивались диспуты для ученых разных школ, никто не шел туда с миролюбивыми намерениями, никто не стремился к установлению истины, туда являлись лишь с одною целью: осмеять своего оппонента, взять над ним верх, а не научиться у него чему-либо; сильный затыкал рот слабому, дискуссия всегда заканчивалась оскорблениями и приводила к преследованиям. Один бог знает, когда кончатся все эти несчастья.

В настоящее время науки процветают, литература и искусство возродились, а какую пользу извлекла из этого религия? Спросим об этом многочисленных философов, которые похваляются тем, что вовсе не веруют. Наши библиотеки переполнены книгами по теологии, казуисты среди нас водятся в изобилии. Когда-то были святые, и вовсе не было казуистов. Наука распространяется, а вера угасает; все хотят учить, как правильно поступать, но никто не хочет этому учиться; мы все стали учеными и перестали быть христианами.

Нет, Евангелие не нуждалось в стольких ухищрениях и атрибутах, чтобы распространиться по всей земле, очаровывая и привлекая сердца. Стоит только задуматься об этой божественной книге, единственной, которая необходима христианину, и самой полезной из всех даже для неверующих, чтобы душа прониклась любовью к создателю и желанием последовать его наставлениям. Никогда добродетель не говорила столь кротким языком, никогда самая глубочайшая мудрость не была выражена с такою силою и простотою. После такого чтения нельзя не почувствовать, что ты стал лучше, чем прежде. О вы, служители закона божьего, который запечатлен в сей книге, не тщитесь преподавать мне такое множество бесполезных знаний! Оставьте ваши ученые книги, которые не смогут ни убедить, ни растрогать меня! Падите ниц пред этим милосердным богом; вы взялись научить меня познать и полюбить его, так вымаливайте же у него для самих себя то глубокое смирение, которое вы проповедуете мне! Не выставляйте предо мной напоказ эту высокомерную науку и непристойную роскошь, которые вас бесчестят, а меня возмущают; если вы хотите смягчить мою душу, смягчите сперва ваши, а главное, докажите мне собственным своим поведением, как вы следуете тому закону, которому пытаетесь обучить меня. Вам нет нужды знать



что-нибудь помимо него и навязывать мне лишние знания, сделайте только то, о чем я прошу, — и ваша миссия будет выполнена. И при всем том не заводите речи об изящной литературе или о философии. Именно так подобает следовать заветам Христа и проповедовать Евангелие, именно таким образом первые его адепты завоевали для него целые народы. Non Aristotelico more, говорили отцы церкви, sed Piscatorio \*<sup>25</sup>.

Я чувствую, что речь моя слишком длинна, но я считал, что не могу не распространиться несколько подробнее по столь важному вопросу. Отсюда нетерпеливые читатели должны сделать вывод, что критика очень удобная вещь, так как совершить нападение можно с помощью одного лишь слова, а для защиты нужны целые страницы.

Я перехожу ко второй части ответа и здесь постараюсь быть более кратким, хотя она и требует не меньше замечаний, чем первая.

*Не из наук, говорят мне, а в лоне богатства во все времена зарождались негa и роскошь.* И я тоже не утверждал, что роскошь появилась от наук, но что они появились вместе и одно сопутствует другому. Вот как я установил бы их генеалогию. Неравенство — первоначальный источник зла, из неравенства появилось богатство: ведь слова «бедный» и «богатый» имеют сравнительное значение; там же, где люди равны, нет ни богатых, ни бедных. Богатство породило роскошь и праздность, от роскоши произошли изящные искусства, от праздности — науки. *Богатство никогда не было уделом ученых.* Именно этим и усугубляется зло, так как богатые и ученые только и делают, что совращают друг друга. Если бы ученые стали богаче, а богатые — умнее, то первые не были бы столь низкими льстецами, а вторые меньше поощряли низкую лесть, и все от этого только выиграли бы. Тому пример — немногие люди, которые имеют счастье одновременно быть богатыми и учеными.

*Платон жил в достатке, Аристипп пользовался покровительством двора, но сколько философов, безвестных, совершенно одиноких прозябают в нищете, ходят по миру, согреваемые вместо плаща лишь*

\* Наша вера, говорит Монтень, не наше благоприобретение, а сущий дар от щедрот другого. Наша религия не плод рассуждений или наших собственных мыслительных способностей, она проистекает из внешнего авторитета и религиозных заповедей. Слабость нашего суждения нам помогает больше, чем сила, а наша слепота — больше, чем ясновидение. Мы ведаем о божественном знании скорее благодаря нашему невежеству, нежели нашей учености. И не удивительно, если нашими обычными, земными средствами нельзя воспринять сверхъестественное, священное познание. Привнесем лишь наше послушание и нашу покорность, ибо начертано: Я разрушу премудрость ученых и уничтожу благоразумие благоразумных (Опыты, кн. II, гл. 12).



*своею добродетелью!* Я не оспариваю, что большинство философов живут в бедности, чем они, конечно, очень недовольны; кроме того, я не сомневаюсь, что большинство из них стали философами не только из-за своей бедности; но, даже если признать их добродетельными, разве согласится народ, которому вовсе не ведомы их нравы, изменить к лучшему свои собственности?! *Ученые не имеют ни стремления, ни свободного времени для стяжательства.* Я согласен поверить, что не имеют на это досуга. *Они охотно занимаются наукой.* Тот, кто не любит свое ремесло, либо безумен, либо очень несчастен. *Они живут очень скромно.* Нужно быть уж очень расположенным в их пользу, чтобы считать это их заслугой. *Скромная жизнь, проходящая в трудах, тиши и уединении, наполненная чтением и работою, конечно, не может быть жизнью сластолюбца и преступника.* Это так, — по крайней мере внешне; но внешность обманчива. Человек может быть вынужден вести такую жизнь и обладать притом весьма испорченной душой; впрочем, не то важно, что он сам добродетелен и скромен, а то, что дело, которым он занимается, дает пищу праздности и развращает его сограждан.

*Жизненные блага, которые часто бывают плодом искусства, далеко не всегда выпадают на долю самим служителям искусства.* Мне вовсе не кажется, что служители искусства способны отказаться от жизненных благ, в особенности те из них, которые, занимаясь бесполезным, а потому очень доходным искусством, имеют больше возможностей добыть все желаемое. *Они работают только на богачей.* При таком ходе вещей я не удивился бы, увидев однажды, как богачи работают на них. *А праздные богачи пользуются результатами их трудов и злоупотребляют ими.* Повторяю, я вовсе не думаю, что наши служители искусства столь скромны и непритязательны. Роскошь не может царить в одном из слоев общества, не проникая во все другие, под разными личинами, но повсюду нанося одинаковый вред.

Роскошь развращает всех — и богача, который ею наслаждается, и бедняка, который ее страстно желает. Нельзя сказать, что носить кружевные манжеты, вышитую одежду или инкрустированную табакерку — само по себе зло. Нет, главное зло в том, что люди дорожат этими финтифлюшками, считают счастливыми тех, кто ими владеет, и посвящают время и силы, которые всякий человек должен отдать благородным целям, тому, чтобы оказаться в состоянии приобрести то же самое. Мне нет нужды знать, чем занимается тот, у кого подобные стремления, чтобы вынести свое суждение о нем.

Я не стану придираюсь к прекрасному изображению ученых, какое находим мы в Ответе; надеюсь, что такая снисходительность будет поставлена мне в заслугу. Мой оппонент не был так добр: во-пер-

вых, он противоречит мне на каждом шагу, во-вторых, явно предпочитает простить мне любое лицемерие, нежели сознаваться в том, что я прав, осуждая нашу суетную и фальшивую учтивость. Он спрашивает меня, не хочу ли я, чтобы порок действовал открыто. Разумеется, я этого хочу; тогда доверие и уважение возродились бы среди добродетельных людей, они научились бы не доверять злым, отчего общество только выиграло бы. Я предпочитаю открытое нападение предательскому удару в спину. Что же, — возразят мне, — неужели нужно, чтобы к преступлению добавился еще и скандал? Я не знаю, но мне очень хотелось бы, чтобы к нему не добавилась еще и ложь. Для порочных людей очень удобны такого рода правила, которые давно преподносят нам относительно скандала. Если следовать им до конца, то придется позволить безнаказанно грабить, предавать, убивать, притом никогда никого не наказывая, ибо колесование злодея — весьма скандальное зрелище. Что же, значит, правда, что лицемерие — это дань уважения, которую порок воздает добродетели? Да, как дань уважения, отданная Цезарю его убийцами, которые пали ниц к его ногам, чтобы удобнее было убивать его. Как ни остроумно это изречение, как ни знаменит его автор \*, идея тем не менее не становится от этого более справедливой. Разве плут, надевший ливрею знатного дома, чтобы с большей безопасностью обделывать свои делишки, приносит дань уважения хозяину, которого обокрал? Нет, скрывать злодейство под опасным покровом лицемерия значит не воздавать честь добродетели, а оскорблять ее, это значит порочить ее чистоту, добавляя ко всем прочим порокам трусость и мошенничество, это значит навсегда отрезать путь к порядочности. Бывают возвышенные характеры, которые даже в преступление привносят нечто от гордости и благородства, в которых теплится еще какая-то искра божественного огня, озаряющего прекрасные души. Но низкая, пресмыкающаяся душа лицемера подобна трупу, в котором нет ни огня, ни жара, ни жизненной силы. Тому есть множество примеров. Бывают закоренелые злодеи, которые, раскаявшись, завершали свой жизненный путь честно и умирали как порядочные люди; но вот чего никто не видел — это, чтобы лицемер стал благородным человеком; можно попытаться исправить Картуша <sup>27</sup>, но ни один умный человек не взялся бы переделать Кромвеля <sup>28</sup>.

Я приписал расцвету литературы и искусств изящество и вежливость, господствующие в нашем обществе. Автор ответа это оспаривает, чем я немало удивлен; поскольку он придает такое значение вежливости и такое значение наукам, я не вижу, какая будет

\* Герцог де Ларошфуко <sup>26</sup>. [Максимы, 223.]

ему выгода от того, что науке или вежливости откажут в уважении из-за того, что одна из них породила другую. Но рассмотрим его доказательства, а они сводятся к следующему:

*Вовсе незаметно, чтобы ученые были вежливее других людей; напротив, часто они гораздо менее вежливы, следовательно, наша вежливость не есть результат учености.*

Для начала я замечу, что здесь речь идет более о литературе, изящных искусствах и произведениях хорошего вкуса, чем о науке; а наши умники, в которых образованности ни на грош, уж так учтивы, так благовоспитанны и вылощены, так милы и любезны, что вряд ли они признают себя в той мрачной и сухой личности, какую представил нам автор возражения. Но простим ему этот портрет и согласимся, так и быть, что ученые, поэты и остро словы все одинаково смешны, что господа из Академии изящной словесности, из Академии Наук и из Французской Академии — грубые люди, незнакомые с бонтоном и светскими манерами, а потому и изгнанные из хорошего общества; автор мало от этого выиграет, а главное, не сможет больше отрицать, что свойственные нам вежливость и благовоспитанность являются результатом хорошего вкуса, почерпнутого когда-то у древних и распространенного среди народов Европы через множество изданных у нас прекрасных книг \*. Можно успешно обучать вежливости, не желая или не имея возможности быть вежливым самому: так лучшие учителя танцев часто бывают весьма неуклюжи. Тяжеловесные комментаторы, которые, как нас уверяют, понимали в жизни древних все, кроме грации и изящества, оставили нам полезнейшие книги, к коим совершенно напрасно относятся с пренебрежением; они научили нас чувствовать красоту, которую их авторы не постигли сами. Так же обстоит дело с приятным обхождением и изяществом манер, подменяющими чистоту нравов у тех народов, где литература была в почете, — в Афинах, Риме, Китае. Всюду вежливость, изящ-

\* Когда речь идет о таких общих темах, как нравы и обхождение в народе, нужно постараться не ограничивать свой взгляд на вещи одними только частными примерами. Таким путем никогда не постигнешь сущности явления. Не нужно искать, вежлив ли тот или другой ученый, чтобы определить, вправе ли я приписывать появление вежливости развитию литературы, но следует изучить отношения, связывающие литературу и вежливость, а затем установить, у каких народов они существовали совместно и у каких раздельно. То же самое я говорю о роскоши, о свободе обращения, словом, обо всем, что влияет на нравственность нации и о чем я ежедневно слышу столько невнятных рассуждений. Рассматривать все это в миниатюре, на примере нескольких индивидуумов — значит не философствовать, а тратить попусту свое время и силы, так же как можно до тонкостей изучить какого-нибудь Пьера или Жана и очень мало преуспеть в знании людей вообще.

ная речь и хорошие манеры сопутствовали наукам, искусствам, но не ученым и не артистам.

Далее автор обвиняет меня в том, что я восхваляю невежество; оценивая меня скорее как оратора, чем как философа, он в свою очередь рисует невежество, и, разумеется, далеко не радужными красками.

Я не отказываю ему в правоте, но не думаю, что и я ошибаюсь. Чтобы примирить нас, нужно лишь совершенно точно установить, в чем заключается наше расхождение.

Существует невежество свирепое \* и грубое, которое зарождается в дурном сердце и испорченном уме, преступное невежество, распространяющееся и на обязанности по отношению к окружающим, умножающее пороки, гасящее разум, позорящее душу и уподобляющее человека животному; мой оппонент критикует такое невежество, рисуя его отвратительный и очень похожий на правду облик. Существует невежество другого рода — благоразумное, не пускающее любознательность за пределы природных способностей; невежество скромное, порожденное горячей любовью к добродетели и не внушающее человеку ничего, кроме безразличия ко всему тому, что недостойно заполнять его сердце; оно не пытается его совершенствовать — это чудесное невежество, драгоценное сокровище чистой и удовлетворенной души, высшее блаженство которой в том, чтобы сосредоточиться в самой себе, услаждаясь своею праведностью, не гонясь за суетным счастьем признания своих достоинств со стороны окружающих: вот какое невежество я восхвалял, вот какого я просил у неба в наказание за возмущение, которое я вызывал в ученых, открыто заявив о моем презрении к человеческим знаниям.

*Сравните, — говорит мой оппонент, — период невежества и варварства с теми счастливыми временами, когда науки повсюду распространяли дух порядка и справедливости.* Эти счастливые времена трудно обнаружить; легче можно указать такие, когда появление наук лишило «*порядок и справедливость*» их подлинного смысла, навязав народу их видимость, и эту видимость будут очень тщательно

\* Я был бы очень удивлен, если бы кто-нибудь из моих критиков не ухватился за мое похвальное слово многим невежественным, но добродетельным народам, чтобы предъявить мне перечень всех разбойников, промышленавших грабежами и убийствами, будучи притом не сведущими в науках. Я заранее прошу их не утруждать себя перечислением упомянутых личностей, разве что они решили непременно похвастаться своей эрудицией. Если бы я утверждал, что достаточно быть невежественным, чтобы быть добродетельным, не стоило бы даже мне на это отвечать; по той же самой причине я считаю себя избавленным от обязанности спорить с тем, кто постарался бы доказать мне обратное <sup>29</sup>.

охранять с тем, чтобы окончательно и безнаказанно уничтожить и порядок, и справедливость. *Заметно, что в наше время войны стали менее часты и более справедливы.* Как это возможно, чтобы вообще какая-нибудь война была справедливой для одной стороны, будучи несправедливой для другой? Я не могу этого постигнуть. *Ратные подвиги ныне не так удивительны, но зато более самоотверженны.* Никто не станет оспаривать у моего противника права судить о героизме, но не кажется ли ему, что мы способны удивиться тому, что не удивляет его? *Победы стали не столь кровопролитны, но более славны, завоевания не столь скоры, но более прочны, войны, хотя и более грозные, проявляют теперь меньше жестокости, сохраняют выдержку при победе, гуманно обращаются с побежденными: их путеводная звезда — честь, награда им — слава.* Я не возражаю относительно того, что среди нас есть великие люди, здесь моему оппоненту очень легко представить доказательства, но это вовсе не исключает другого — люди пынче весьма испорченны. Впрочем, вопрос этот так не ясен, что можно почти то же самое сказать обо всех эпохах, и возразить будет невозможно, потому что для этого нужно было бы пересмотреть целые библиотеки и написать целые тома доказательств и за, и против.

Когда Сократ осуждал науки, он не мог иметь в виду ни высокомерие стоиков, ни изнеженность эпикурейцев <sup>30</sup>, ни абсурдный жаргон пирронистов <sup>31</sup>, хотя бы потому, что в те времена никто из этих людей еще не существовал. Но эта небольшая ошибка вовсе не порочит моего противника; он употребил свою жизнь на нечто лучшее, чем копание в датах, и не обязан знать наизусть Диогена Лаэртция, как я не обязан изучать войну прямо на поле боя.

Итак, я установил, что Сократ думал только об исправлении пороков у философов своего времени, но я не знаю, какой иной вывод можно отсюда сделать, кроме того, что начиная с этого времени число пороков, равно как и философов, необыкновенно возросло. Мне отвечают, что и философия имеет свои недостатки, — я и не собираюсь это отрицать. Как! — спросите вы, — неужели же нужно уничтожить все, что грешит недостатками? Да, без сомнения, отвечу я, не колеблясь, те вещи, чьи недостатки приносят больше вреда, чем их достоинства — пользы, подлежат упразднению.

Остановимся на моем последнем выводе. Поостережемся понимать его так, что нужно немедленно сжечь все библиотеки и разрушить университеты и академии. Мы лишь вторично ввергнули бы Европу в варварство, отчего нравы ничуть бы не выиграли \*. С большою выскажу

\* Пороки нам остались бы, говорит философ <sup>32</sup>, которого я уже цитировал, а невежество усугубилось бы. Из немногих строк, написанных этим



я великую и роковую истину. Знание от невежества отделяет один лишь шаг, и чередование их — нередкое явление у наций, но никогда не бывало, чтобы народ уже испорченный вернулся к добродетели. Напрасно вы уничтожили бы источник зла, напрасно лишали бы пищи праздность и роскошь, напрасно даже вернули бы людей к первоначальному равенству, блюстителю невинности и источнику всякой добродетели, — их однажды испорченные сердца пребудут такими навеки; от этой болезни нет лекарства, разве что великая революция; но ее должно опасаться почти так же, как и зла, которое она могла бы исцелить: желать ее предосудительно, а предвидеть результаты невозможно.

Предоставим же наукам и искусствам возможность хотя бы частично смягчать жестокость тех людей, коих они испортили, постараемся придать делу другой, мудрый оборот, сообщив людским страстям иное направление. Бросим какую-нибудь пищу этим тиграм, чтобы они не пожрали наших детей. Не так опасны познания дурного человека, как его животное тупоумие; образование сделает его по крайней мере более осмотрительным по отношению к злу, которое он способен совершить, ибо тогда он понимает, что это зло может обернуться против него самого.

Я хвалил академии и их славных основателей, и я охотно повторяю эту похвалу. Когда болезнь неизлечима, врач прибегает к паллиативам, принаравливая лекарство более к темпераменту больного, нежели к его потребностям. Законодателям, если они мудры, следует подражать такому благоразумию; не будучи в состоянии управлять больным народом самым идеальным образом, они обязаны по крайней мере дать ему, подобно Солону, наилучший образ правления, какой только позволяют обстоятельства.

В Европе есть великий государь <sup>33</sup> и — что еще важнее — добродетельный гражданин, создавший ряд установлений для пользы литературы в том отечестве, которое он принял под свою эгиду, счастливо управляя им. Тем самым он совершил деяние, весьма достойное его мудрости и добродетели. В вопросе о политических институтах многое определяется местом и временем. Нужно, чтобы государи в своих собственных интересах неизменно покровительствовали наукам и искусствам, — я уже обосновал это; а настоящее положение вещей требует также, чтобы они им покровительствовали и в интересах самих народов. Если какой-нибудь монарх окажется настолько ограниченным, что начнет думать и действовать иначе, его подданные бу-

автором на данную важную тему, видно, что, рассматривая ее со всех сторон, он сумел многое увидеть.



дут бедны и необразованны, но притом не менее порочны. Мой оппонент забыл извлечь преимущество из столь разительного примера, по видимости подтверждающего его мнение; может быть, он единственный, кто не знал или не подумал об этом случае. Пусть же он теперь примет напоминание о нем, пусть не отказывает великим делам в заслуженной похвале, пусть он восхищается ими так же, как и мы, и не упорствует в своей борьбе против очевидных истин.

95. Речь идет о сочинении Вольтера «Опыт о нравах и духе народов» (1745).
96. Речь идет о Григории I (540—604) — папе римском.
97. *Спиноза Бенедикт* (1632—1677) — голландский философ-материалист. Руссо отрицательно оценивал идеи Спинозы как безбожные.
98. Имеются в виду «Заблуждения ума и сердца», «Софа» французского писателя Кребийлона-сына (1707—1777), «Персидские письма» Монтескье, «Девственница» Вольтера, «Нескромные сокровища» Дидро.
99. Имеется в виду Цицерон (106—43 до н. э.) — древнеримский оратор и политический деятель. Цицерон избран был консулом в 63 г. до н. э.
100. Имеется в виду Френсис Бэкон (1561—1626) — английский философ-материалист и политический деятель. Бэкон с 1618 г. был канцлером Англии. В более поздних трудах Руссо получили развитие идеи Бэкона о наглядном и конкретном обучении.
101. Речь идет об Афинах и Спарте (древняя Греция). Пример заимствован у Монтеня (см.: *Монтень. Опыты*, кн. I, гл. 25).

Замечания Ж.-Ж. Руссо... по  
поводу ответа на его Рассужде-  
ние...  
(с. 43—63).

Написаны в 1751 г. Впервые опубликованы в 1751 г. На русском языке опубликованы впервые в 1866 г. Печатается в переводе М. М. Маянца и И. Я. Волевиц. Перевод по изданию: *Collection complètes de J.-J. Rousseau. Genève, t. 13, 1782.*

В полемике вокруг «Рассуждения о науках и искусствах» принял участие Станислав Лещинский, польский король. Он выступил с «Опровержением Рассуждения о науках и искусствах Ж.-Ж. Руссо», опубликованным в сентябрьском номере журнала «Меркюр де Франс» за 1751 г. В «Опровержении» ставились под сомнение основные выводы «Рассуждения о науках и искусствах».

1. Имеется в виду трактат римского историка Кая Секунда Плиния Старшего (23—79) «Панегирик Траяну».
2. Александр Македонский посетил в Египте храм бога Аммона. Жрецы храма вынесли изображение божества и провозгласили родство Александра и Аммона, сказав, что предводителю македонян надо оказывать почести как богу (см.: *Квинт Курций. История Александра Македонского*, кн. IV, VII, 20). Руссо читал сочинение Курция, переведенное на французский язык в 1699 г. Вслед за Монтенем Руссо характеризует слова жрецов как льстивые и неискренние (см.: *Монтень. Опыты*, кн. I, гл. 42). Правдиво умели говорить

- о героях, считает Руссо, лишь жители Лакедемона (древняя Греция).
3. *Юлиан* (331—363) — римский император. Сведения о Юлиане и его дворе Руссо заимствовал у Монтеня (см.: *Монтень. Опыты*, кн. I, гл. 42).
  4. *Бог хотел не только, чтобы мы знали, но и чтобы извлекли из этого пользу* (лат.). — *Монтень. Опыты*, кн. II, гл. 12. Монтень в свою очередь цитировал Манилия (Астрономическая поэма, IV, 907).
  5. *Альфонсу X* (1221—1284) — королю Ленона и Кастилии — приписывают слова: «Если бы бог призвал меня на совет в первые дни творения, мир был бы устроен проще и лучше». Руссо мог прочесть эти слова в «Словаре» П. Бейля.
  6. Речь идет о китайцах.
  7. Речь идет о швейцарцах (см. примеч. 32 к «Рассуждению о науках и искусствах»).
  8. Имеются в виду д'Аламбер и его «Предисловие» к «Энциклопедии», вышедшей в Париже в 1751 г. (первый том). Д'Аламбер (1717—1783) — французский философ-просветитель.
  9. *Иосиф Прекрасный* — библейский персонаж. *Филон Иудейский* (13 до н. э. — 54 н. э.) — античный философ, пытавшийся связать идеи иудаизма и эллинизма.
  10. *Саддукеи* — представители религиозно-политического учения в древней Иудее (II в. до н. э. — I в. н. э.) Саддукеи отвергали веру в бессмертие души и выступали против догмата о божественном предопределении. После подчинения в 63 г. до н. э. Иудеи Риму перешли на сторону римлян.
  11. *Фарисеи* — представители религиозно-политического течения в древней Иудее (II в. до н. э. — первые века н. э.) Вожди фарисеев вели беспощадную борьбу с раннехристианскими общинами и поэтому получили весьма резкую оценку в евангелиях, где названы лицемерами. Отсюда происходит употребление в переносном смысле слова «фарисей» — в значении «ханжа».
  12. Упомянута пьеса Ж.-Б. Мольера (1622—1673).
  13. *Павел* — один из апостолов в христианской мифологии; проповедовал христианство, в частности, в Афинах, где подвергся гонениям.
  14. *Юстин* (100—165) — христианский богослов, автор «Апологии» и «Диалога».
  15. *Лукиан* (220—311) — христианский богослов, толкователь библейских текстов.
  16. *Тертуллиан* Квинт Септимий (II в. н. э.) — христианский богослов, выступавший против ересей. Тертуллиан утверждал, что между нравственностью и чувственностью существует неразрешимое противоречие, отрицал необходимость научного знания.
  17. *Эпикурейцы* — последователи Эпикура (342—270 до н. э.), древнегреческого философа-материалиста.

18. *Платоники* — приверженцы философской школы Платона (427—347 до н. э.), греческого философа-идеалиста. Почти тысячелетняя история Академии, объединявшей платоников (IV до н. э.— V н. э.), была историей борьбы античного идеализма с материализмом.
19. *Стоики* — последователи Зенона Китийского (Финикийского) (III до н. э.), древнегреческого философа. Стоики рассматривали душу как особого рода тело — пневму (соединение воздуха и огня).
20. *Киренаики* — последователи Аристиппа (V до н. э.), древнегреческого философа. Киренаики — философская школа, развивавшая этическую сторону учения Сократа. В вопросах этики киренаики проповедовали гедонизм, объявляющий целью жизни наслаждение. Французские просветители-материалисты использовали философию гедонизма для критики условностей феодальной морали.  
*Феодор Безбожник* (330—270 до н. э.) — древнегреческий философ-киренаик.
21. *Диоген Лаэртский* (*Лаэртий*) (III в.) — древнегреческий философ-неоплатоник, автор трактата «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». Руссо цитирует этот трактат.
22. «Дружбу он отрицал: дружбы не существует ни между неразумными, ни между мудрыми — у первых, как минует нужда, так исчезает и дружба, а мудрец довольен себе и не нуждается в друзьях. Весьма разумно и то, говорил он, что человек взыскующий не выйдет жертвовать собою за отечество, ибо он не откажется от разума ради пользы неразумных: отечество ему — весь мир. Кража, блуд, святотатство — все это при случае допустимо, ибо по природе в этом ничего мерзкого нет, нужно только не считаться с обычным мнением об этих поступках, которое установлено только ради обуздания неразумных» (*Диоген/ен/ Лаэрт/ский/*. Аристипп, § 98, 99 (*лат.*). Цитата дана в переводе М. Л. Гаспарова по изданию: *Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.* — М., 1979.
23. Имеется в виду Климент Александрийский (150 — ок. 211) — христианский философ. В своих сочинениях («Увещание к эллинам», «Педагог» и др.) Климент Александрийский пытался обосновать христианство, используя платонизм.
24. См. примеч. 18.
25. *Действуя не как философы, а как простые рыбаки* (*лат.*).
26. *Ларошфуко* (1613—1680) — французский философ, автор «Максимов», с которыми Руссо познакомился впервые в 1735 г.
27. Речь идет о Картуше (Луи-Доминике Бургиньоне) (1693—1721) — главаре разбойничьей шайки. Картуш был казнен в Париже на Гревской площади.

28. *Кромвель Оливье* (1599—1658) — английский политический деятель. По его предложению был казнен английский король Карл Стюарт.
29. Руссо полемизирует здесь с суждениями Вольтера, высказанными им в трактате «Опыт о праве и духе народов» (1745).
30. См. примеч. 14, 16.
31. См. примеч. 13 к «Рассуждению о науках и искусствах».
32. Очевидно, имеется в виду д'Аламбер.
33. См. примеч. 86 к «Рассуждению о науках и искусствах».

### Предисловие к «Нарциссу» (с. 64—78)

Написано в 1752 г. Впервые опубликовано в 1753 г. На русском языке опубликовано в 1959 г. в переводе Т. А. Барской. Печатается в переводе И. Я. Волевич по изданию: *Rousseau J.-J. Oeuvres complètes. T. II. — Paris. Bibliothèque de la Pléiade, 1961.*

Работа подытоживает полемику Руссо с критиками «Рассуждения о науках и искусствах». Кроме публикуемого в нашем издании ответа одному из своих оппонентов — королю Станиславу — известны ответы Руссо и другим критикам «Рассуждения...»: «Письмо аббату Рейпалю, автору журнала «Меркюр де Франс», «Последний ответ г-пу Борд», «Письмо Ж.-Ж. Руссо о новом Опровержении его «Рассуждения», написанном одним из членов Дижонской Академии».

В «Предисловии» Руссо уточняет свои суждения относительно проблем морали, нравственного становления человека, развивает свой взгляд на личность, формирование ее под воздействием среды.

1. Комедия «Нарцисс, или Влюбленный в самого себя» написана позже — в 1733 г. В комедии добродетельная сестра и преданная возлюбленная излечивают юношу Валера от чрезмерного восхищения собственной красотой. На сцене «Нарцисс» поставлен был в 1752 г. Постановка провалилась и более не возобновлялась. В том же 1752 г. написано и «Предисловие» к пьесе «Нарцисс».
2. Имеется в виду Филипп II (ок. 382—336 до н. э.) — царь древней Македонии (359—336 до н. э.).
3. *Достаточно красноречия, мало мудрости (лат.).*
4. Речь идет об открытиях XV—XVI вв. путей в Индию через Атлантический и Тихий океаны.
5. «Злой человек» — комедия французского драматурга Грессе. Написана в 1745 г.; впервые поставлена в 1747 г.
6. См. примеч. 13, 90 к «Рассуждению о науках и искусствах». *Протагор* (485—410 до н. э.) — древнегреческий философ-софист и скептик. *Лукреций Кар* (ок.